НИКОЛАЙ
УШАКОВ

В пути

НИКОЛАЙ
УШАКОВ

В пути

Стихи

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ * 1981

В книгу замечательного советского поэта Николая Ушакова (1899—1973) вошли стихи, обнаруженные друзьями поэта в его архиве, а также появившиеся на страницах периодики после его смерти. Эти стихи, написанные в разные годы жизни, углубляют сложившиеся представления о творчестве известного поэта.

Художник Виктор ВИНОГРАДОВ

У $\frac{70402-308}{083(02)-81}$ 205—81. 4702010200

ПОЭЗИЯ СВОБОДНОГО ДЫХАНИЯ

Казалось, трудно найти поэта с более устойчивой, десятилетиями проверенной литературной репутацией, чем Николай Ушаков. С первой же его книгой «Весна республики», вышедшей в далеком 1927 году, пришла к нему слава не только сложившегося мастера, но и певца «второй природы» — строительных площадок и лабораторий, паровозных депо и шахт, доменных печей и бункеров. Поддерживаемая потом каждой новой книгой писателя, она держала в плену такого прочтения не только критиков, годами писавших об Ушакове как о своеобразном «инвентаризаторе Вселенной», но и самого поэта. И свои размышления о поэзии, и сами стихи он подчас слишком жестко ограничивал сформулированным им однажды и долгое время казавшимся универсальным принципом: история поэзии — это прежде всего история вхождения в поэзию вещественных примет времени.

При жизни Ушакова вышло около сорока его сборников. Последний, который он успел еще увидеть, — «Мой век», — был самой большой и то, что принято называть итоговой книгой поэта. Но, вчитываясь в ее строки, вдумчивый читатель вдруг понимал, что перед ним не просто итог долгой поэтической жизни, но и вдруг открывшаяся — чистая и неизвестная — ее страница. Что-то непривычное, неожиданное для «мастера деталей» вставало за строками последних стихов поэта — то свободное дыхание, которое приходит к одолевшему, наконец, трудный подъем путнику, когда сами горизонты словно раздвигаются перед ним до предела...

Когда же после смерти Ушакова стали доступны не только его книги — результат поисков, итог творчества, но и архив — сам процесс творчества в его сложной незавершенности, стало ясно — то, что поначалу казалось новой страницей, было в действительности результатом долгого и противоречивого пути «проб и ошибок», которым идет каждый честный художник, независимо от масштабов своего дарования и резонанса творчества. Недаром Ушаков в одной из дневниковых записей как-то заметил, что поэт, родившись раз, всю жизнь стремится родиться во второй раз, но, бывает, не рождается и вовсе. И, перелистывая теперь страницы рабочих тетрадей писателя, вчитываясь в строки пока еще никому не известных стихов, отчетливо видишь ту сложную работу, которая совершалась — незаметно для постороннего глаза — в душе художника на этом, всегда бесконечном пути к самому себе.

Стихи, собранные в этой небольшой книге, при жизни Ушакова нигде не печатались. Одни оставались в дневниковых тетрадях, другие он бережно выписывал в самодельные сборники и годами работал над ними — не менее тщательно, чем над рукописями книг, благополучно увидевших свет.

Естественно спросить — уже, к сожалению, не Николая Николаевича, а себя: почему же он почти не делал попыток издать эти, часто действительно великолепные, стихи? Ведь многие из них были написаны именно в те трудные для Ушакова месяцы и годы, когда хоть и продолжали выходить его новые сборники, но ни одному из них не суждено было подняться до уровня «Весны республики» или «30 стихотворений». Когда берешь в руки «личные экземпляры» тех книг — на них Ушаков наносил последующую правку,— почти физически ощущаешь молчаливую внутреннюю драму, которую переживал поэт, ища и не находя слов, и не просто слов, а чего-то неизмеримо большего — той высшей душевной согласованности с самим собой, той единственной своей правды, которая и делает некое сочетание размера, ритма, рифм стихами. И, чувствуя это, устало зачеркивал написанное, и снова искал, и снова зачеркивал... А рядом, тут же, на чистых полях книги, на

листочке, вложенном между ее страницами, или в дневниковой тетради после записи, что «вот опять мокрый снег», возникают строки, с которых должна была начаться — и начиналась, как мы видим сегодня! — новая жизнь слова.

Это не было продуманным расчетом — не рисковать на пути, который неизвестно куда уведет от проверенных «примет бытия», а скорее — той внутренней незащищенностью от ударов судьбы, которые переживались им мучительно и трудно. Он до самой смерти помнил, как в конце сороковых годов один критик обрушился на его ставшее к тому времени классикой русской поэзии «Вино»:

> Чем продолжительней молчанье,
> тем удивительнее речь...—

помнил и долго не включал его в свои сборники.

Но, болезненно ранимый, терзаемый сомнениями и неуверенностью, он все же не мог не знать истинной цены этим лежащим под спудом строкам. Когда сказано «тепло коричневых икон» — заметил он, переписав в один из самодельных сборников свое «Великопостное» — сделана заявка на неподдельную поэзию. «Тепло коричневых икон» было увидено и почувствовано 18-летним юношей, оценивал эти строки через десятилетия поэт со сложившейся репутацией мастера.

В этой книге много стихов о природе — и не тех привычных для Ушакова пейзажей с производственными деталями — «весной в олеонафте» или «отпетым блокпостами» северным летом — а просто осеней, зим, трепетно ожидаемых каждый год оттепелей и ледоставов.

Близким поэта были хорошо известны всегда казавшиеся парадоксами некоторые его высказывания. Лирик по самой своей сути, он не любил — говорил, что не воспринимает! — психологической литературы, вообще всякого обнажения своего «я» — того, что исконно составляет самую сердцевину лирики. «Отпустите поводья Пегасу»,— советовал он другим, но своего Пегаса крепко держал

в узде. И вот именно в такие пейзажи, где сезон, и погода, и ландшафт интересны, по его собственным словам, только потому, что отражают внутреннюю жизнь человека, уходили те, подчас подлинно драматические состояния его собственной души, открытого проявления которых он избегал. Тень самолета, промелькнувшая в осенней луже, опадающие дождем лепестки яблони, засыпанные прелью овраги Кирилловской рощи помогали ему преодолеть тоску, душевную неудовлетворенность, досказать то, что без них осталось бы недосказанным...

Вскоре после войны Ушаков неожиданно написал о том, как не хотелось бы ему умереть поздней осенью, когда в его родном Киеве яркие краски короткого бабьего лета сменяются долгими днями межсезонья — грязью и слякотью, рано нависающими промозглыми сумерками. Он умер именно в такой день. В такой же день — под снег пополам с дождем, на пронизывающем ветру — его хоронили на Байковом кладбище. Теперь на памятнике выбиты строки тоже давних его стихов:

> Я, ей-богу, прожил не напрасно,
> Памятник мне — горсть живых семян.

От поэта остается немного, но — остаются стихи,— заметил как-то сам Ушаков. И чем дальше отодвигается тот холодный ноябрьский день 1973 года, тем ощутимее реальные всходы брошенных поэтом семян. Хочется верить, что эта тоненькая книжечка добавит к облику прекрасного русского поэта те необходимые штрихи, без которых он всегда будет оставаться недорисованным.

Ирина Гитович

* * *

Если можно было бы сначала
жить начать одним прекрасным днем,
я б хотел, чтоб иволга кричала,
чтобы набухал простор дождем.
Чтобы плакал мир его слезами,
чтоб от слез мне было бы светло.
Жить с сухими — жесткими глазами
слишком, слишком, слишком тяжело.

1946

ТИШИНА

(1914)

Что за тихая пора —
все благополучно,
строчка чуть ползет с пера —
господи, как скучно.

Тридцать градусов в тени,
ленью все объято,
вянут, на цыплят взгляни,
пыльные цыплята.

Куры вянут под окном,
клюв петух разинул.
Хоть бы грянул дальний гром,
хоть бы ливень хлынул.

1914, 1918

ВЕЛИКОПОСТНОЕ

Бегут потоки мутно-быстрые,
на деревцах вода висит,
И черный лед рядами выстроен
у мокрых тротуарных плит.

А много льду еще не сколото,
а двор седее ноября,
и ржавое мутнеет золото
раскрытого монастыря.

Лениво крестятся прохожие
теплу коричневых икон,
звенят, гудят призывы божие,
и гул ручьями повторен.

Распахнутая церковь ладаном
кадит из запертых ворот,
и он нежданно и негаданно
по улицам плывет, плывет.

1918

* * *

Нам смерть ревнивая внимала,
подстерегая нас двоих.
Пока меня ты обнимала,
она коснулась рук твоих.

Ушла соперницею грозной.
И ты, обняв меня, спала.
А я проснулся слишком поздно.
Ты рук уже не развела.

1923

ЖИЗНЬ

(По выгонам старым и новым)

Прости мне характер дурашный,
инерцию, бравшую верх,—
не раз ради розы бумажной
я твой одуванчик отверг.

И крепкий, и цепкий, и клейкий,
и полный густым молоком —
привычный цветок у скамейки
в обычном саду городском.

Цветок показался мне жестким,
неполитым сад городской....
Зачем же податливым воском
не стал я в твоей мастерской!

1927

СЕПИЯ

Какой туман! Лишь буфера да цепи!
А смутный снег, а мутная вода
и смутный день слились в единый сепий,
в табачный дым, но это не беда.

Какой туман! И нету места, где бы
и дождь и снег не утопал в золе.
Что ж, если неба нет, не надо неба! —
Мы побеждаем, стоя на земле!

1935

ВДОХНОВЕНЬЕ

(Весенний сон)

Мерцал весь Харьков в отдаленье,
Госпром сиял в ночном окне.
Как лучшее стихотворенье,
как счастье, ты пришло ко мне.

Как в сказке, ангел белокрылый,
ты, освещая ремесло,
и розами меня укрыло,
и лилиями занесло.

И было горько мне и сладко,
и я не мог поднять руки —
я стал ручьем и без остатка
ушел в огонь и ледники.

И было грустно мне и мило,
и высказалось, как река,
все, что страдало и любило,
но не имело языка.

Все стало яркою приметой,
что к выражению рвалось,
что этой песнею неспетой
в тумане тлело и зажглось.

И стало ясного яснее,
что существует белый свет.
И был я музыкой овеян,
которой и названья нет.

1935

РОМАНС

В клочьях дымного тумана
спят равнины рейнских вод.
Лизхен, Лизхен встанет рано,
розан розовый сорвет.

Стебелек заломит Лизхен,
росы отряхнет с цветка.
Дремлют по лужкам альпийским
и стада и облака.

Дремлют горные дорожки
над стеклом озерных вод.
Лизхен милому в окошко
бросит розу и уйдет.

Бродит по лужайке стадо,
колокольцами звеня.
Никуда спешить не надо,
Лизхен, подожди меня!

1935

ВЕРБЛЮЖЬЯ КОЛЮЧКА

С растением схожа едва ли —
торчала она иглой.
Камнями ее заглушали,
ее заливали смолой.

Над дикой иглой катилась
трехтонка, и верно, не раз.
И все же игла пробилась,
и лопнула шина у нас.

1937

МОРЕ ТРАГИЧЕСКОЕ

Ступеньки ведут в глубину —
в тугие и влажные своды.
Эпроновец сходит в волну,
в тяжело-зеленую воду.

Медузы с огнем голубым
скользят, как трава голубая,
и рыбы проходят над ним,
холодным хвостом задевая.

Как странно в зеленом лесу,—
лишь тень корабля шевелится.
Стоит водолаз на весу
в хрустальной и тихой гробнице.

Подняться торопится он,
да только такая обида,—
доносит к нему телефон
тягучий напев панихиды.

Все ближе, все громче поют
напев свой торжественно-жуткий,
и пению тон задают
унылые боцманов дудки.

Весь царский затопленный флот
в стеклянной пред ним плащанице
себе отходную поет,
висит в вышине, шевелится...

1938

ВЕСЕННИЙ ДОЖДИК

Я в капли выбежать готов
в весенний дождь, весною ранней
в один из теплых вечеров,
которых нет благоуханней.

Еще не наступил июнь,
еще весна, но, накопляясь,
сбегают капли — динь-день-дунь —
на лодочку цветка, на завязь.

1938

ЛЕГКОМЫСЛИЕ

Пред мертвой и живою былью,
без всякой думы на челе
наш ангел, потерявший крылья,
спокойно ходит по земле.

Ничто
не будит в нем сомненья,
ничем
он, ясный, не смущен.
И самое грехопаденье
с улыбкой
вспоминает он.

А мы все книги прочитали
и так боимся каждый раз,
чтоб крылья ангелу не дали
и он
не улетел от нас.

1938

* * *

Я видел, как реки, катясь с хребта,
встречались в русле одном,
но не сливали свои цвета
и разные шли вдвоем.

Я видел, как люди страны одной
и одного языка
вступали друг с другом в смертельный бой,
и смерть им была нелегка.

Я видел империй и царств предел
и, кажется, не ослеп.
Недаром я черный и черствый ел
военного времени хлеб.

1939

* * *

Мы сами в поезде, недаром
Курьерский поезд нас везет,
Года укутывая паром,
Ведя мгновеньям верный счет.

И только знаки верстовые
Летят в лесок, как бы впотьмах,
И только точки световые,
Как бы лампадки на крестах.

И только пляски круговые
Летящих на фонарь листов,
И только темная Россия,
Лежащая за морем дров.

1940

УЛЫБКА ОСЕНИ

А все-таки сознаться мне придется —
погода осени — коварней всех погод:
лицо к лицу спокойно поднесет
и — вызывающая — улыбнется.

Листок кофейный в солнечном столбе,
и сразу снег — спокойный, тихий, зыбкий.
Есть торжествующий обман в улыбке,
которая уверена в себе.

1940

СТАРОСТЬ

Ничего нет страшней в нашей жизни:
ночь проходит, а смерть у ворот
то «На сопках Маньчжурии» взвизгнет,
то «пошел-распошел» заведет,

то «невеста была в белом платье»...
Пела мамка тебе на беду
ту мещанскую песню некстати,
а в каком — не припомнишь году.

Все равно твоя песенка спета,
и все мысли сошлись на одном —
ты не спишь, ожидаешь рассвета,
слава богу, рассвет за окном.

Вот шарманщик идет с обезьянкой,
коротка очень песенка, жаль!

Не кончай старой песни, шарманка,—
Это мой молодой «Трансвааль».

1940

В ЦИРКЕ

Взлетая с трапеций,
с кометами спеться
намерен стеклярусный акробат.
Но рыжий — невежа —
на круге манежа
кричит акробату: «Куда же ты, брат?»
Куда же ты, эка —
куда человека,
куда занесло, поглядите — куда!
А снизу, как ламы,
какие-то дамы,
как мулы, какие-то господа.
Таринна, тарэнна,
а снизу — арена —
узка, холодна, глубока, далека.
Тарэнна, таринна —
о, вальс мой старинный.
Мы выше животных, мы выше песка.

1940

ИЗ БЛОКА

Мной глубина руководила,
дыша медвяной тишиной.
Проникновенно осветила
пути-дороги предо мной.

Чтоб шел я по дороге правой,
земную славя глубину,
не увлекаясь праздной славой
и женщину любя одну.

1940

ВОЛЧЬЯ ВЕСНА

Волк по кустарникам влачится,
ничто не радует его —
он, кроме запаха волчицы,
не замечает ничего.

Ему грозят капкан и пули,
а он — влюбившийся болван,
зачуяв темные пачули,
идет под пули и в капкан.

1940

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Когда б ты счастья пожелала б
и прямо к морю привела,
я руку положил бы на лоб
тебе: «Да ты с ума сошла!»

Ну, чем корыто наше худо?
Чего искать нам вдалеке?
А говорить я с рыбкой буду
на рыбьем, что ли, языке?

Чтобы корыта не лишиться,
туши желания в груди,
а если рыбка и приснится,
меня, старуха, разбуди!

1940

* * *

О, лилия моя святая,
уж не за совесть, а за страх
я знаки тления читаю
на пожелтевших лепестках.

Но только ясный день умолк,
ты к ночи снова прежней стала,
ты вновь, как прежде, засияла,
одетая в прохладный шелк.

1941

КУСТ НА КОСОГОРЕ

С зимою нам беда и горе:
смотри, как белый снег глубок,
смотри — какой на косогоре
с сухими листьями дубок!

Что может быть для нас печальней,
чем белый снег, чем синий лед,
чем этот куст сентиментальный,
который нас переживет.

1941

НАБРОСОК

Снег дышит теплотой весенней
под еле внятной синевой,
так и упал бы на колени
пред этой бледною весной...

1941

* * *

Ах, весна поздних лет,—
абрикосовый свет,
абрикосовый цвет без конца.
Золотист, розоват...
Разве я виноват,
что нельзя отвести мне лица!

Вот и за сорок мне...
В розоватом огне
тихий запад, зачем не восток!
Абрикосовый свет,
абрикосовый цвет,
абрикосовый желтый денек!

1941

КАТАКЛИЗМ

(Песенка европейца)

Как кладбищем пахнет можжевельник!
Но кого хоронят, погляди.
Господи, сегодня понедельник —
целая неделя впереди.

Может быть, добыть мне красный перец,
на зеленом настоять вине.
Все ж и я немного европеец
и Европы жалко все же мне.

Жалко XIX века и 13 года жаль.
С белою дощечкою «калека»
многих по миру пустил Версаль.

Никуда лечиться я не еду,
снова мечет бомбы самолет.
Может быть, во вторник или среду
государство новое падет.

Лучше б сразу уж землетрясенье,
чтобы всех министров унесло.
Господи, когда же воскресенье,
красное, хорошее число.

Февраль 1941

* * *

Убегает тропинка витая,
а за нивой ты сладко поешь!
На четырнадцать верст золотая,
золотая от солнышка рожь.

Ну так что ж, если колется колос,
Ну так что ж, если солнце печет.
Из-за нивы твой слышится голос,
он меня и манит, и влечет.

1941

ПЕРЕД ЛЕДОХОДОМ

С стыдливостью какою милой,
еще туманна и бледна,
свое сиянье подарила
мне однодневная весна.

Какою солнечною пряжей
весна похвасталася мне
над общей негою лебяжьей
снегов, сокрытых в тишине.

Где льдинки первого апреля,
как перед полою водой,
невнятной жилкой засинели
над всей прохладной белизной,

* * *

Снялась зима-то! (Добрый путь!)
На миг один блеснув снегами,
как бы готовясь присягнуть
весне приятными снегами.

Чтоб ямб звенел среди проталин,
чтоб рокотал на сотни верст,
всем птичьим порском рассигнален,
от голубой луны зеркален,
хрустален от ста тысяч звезд.

1941

ВЕСНА

(Из Гейне)

С цветами весна наступает,
весна наступает, весна!
А дурочка напевает
о том, что она умна.

Не слишком приятное пенье —
ведь голос не знаменит.
К дурочке на колени
склонился дурак и молчит.

Молчит он, двух слов не умея
связать, и ползут облака,
пожалуй, дура умнее
этого дурака!

1941

АЛЬПИНИСТУ

Привет тебе, бродивший в вышине
Средь ледников и каменных ступеней,
где побывать не довелося мне.
Привет тебе, сходящий по морене
на луг альпийский в сочную траву,
чей мирный сон вовеки не прерву.
Привет тебе, идущему вразмашку
в уже мне недоступную ромашку,—
моей мечте с твоей не по пути.
По лугу круглому хотелось мне б идти.
И снова, снова слышать над долиной
ремесел шум, не голос лебединый,
которым я безвременно отпет.
Опять на снежный ты идешь хребет,
идешь ты с ледорубом вдоль ущелий.
Я в госпитале, я лежу в постели,
а ты через «стаканы» в леднике
идешь с топориком своим в руке.
И я лежу, завидуя безумно.

1941

* * *

О, как быстро бегут недельки,
словно речки вешний поток.
Я видел весну лишь мельком
и то самый краткий срок.

1941

* * *

Тебя я увидел однажды,
Ты шла вдоль моей земли.
Прими же цветок мой бумажный,
Живые еще не цвели.

1941

МИФ

Пока к коленям Леды белой
Зевс черным лебедем приник,
девятый вал осатанелый
наш бедный лижет материк.

И обливаемся мы кровью,
и покидаем свой порог,
покамест тешится любовью
с гречанкой полнотелой бог.

1941

МОРСКАЯ ПЕНА

Белая пена у Сочи
снова шумит предо мной....
Тысячеглазые ночи,
тысячеустый прибой.

Снова и шепот и ропот,
катера трепет и дрожь,
снова, царевна Европа,
ты предо мною плывешь.

Бледная, ищешь спасенья:
рокот в грозу перерос.
Вьется шоссе в отдаленье
между лиан и мимоз.

По небу бегают лапы
прожекторов голубых.
Берег. Дорога. Пикапы.
Красноармейцы на них.

И оперся им в колени
крепкий ружейный приклад.
Море в танцующей пене,
будто на нем снегопад,

ветер с волной в заговоре...
Ночью бушует и днем
мутнозеленое море,
белая пена на нем.

1941

ВАРВАРСКИЙ СОНЕТ

30.X.41

Тане

Еще мы вместе — поцелуй меня!
Оставленные небом пилигримы,—
мы — европейцы — в Азию теснимы,
и хлеба нет у нас, и нет огня.

Хорошая моя, моя отрада,
нет у меня и крошки шоколада
для нашего торжественного дня,
но все ж мы вместе — поцелуй меня!

Мы движемся несметною толпою,
но, кажется, нас на земле лишь двое,
и мы спешим, весь мир похороня.

Мы — два листка, оторванных от ветки,—
летим в туман сквозь дождь и снег нередкий...
Пока мы рядом — поцелуй меня!

1941,
Саратов

ВЕРБЛЮД

Я нежность чувствую к верблюду.
Верблюды в Азии повсюду.
Они похожи на меня.
Я, как верблюд, бреду двугорбый,
с авоськой полной, свыше нормы,
в лучах пылающего дня.
И азиатские закаты
горят, от леса желтоваты,
одни дувалы предо мной,
и, накопив слюны с излишком,
готов в случайного мальчишку
я желчною метнуть слюной.

1942

ЖИВОПИСЕЦ

Над востоком прохлада ночная,
синих листьев безбрежный разлив.
Мчится пара, и пристяжная
скачет, голову наклонив.

Сквозь листву проступает сиянье,
освещен губернаторский дом,
и танцуют купцы и дворяне
за пылающим жарким окном.

Только шпор перебор,
только топот,
только музыка и говорок.
Сквозь деревья глядит на Европу
многоглазый, безмолвный Восток.

И художник мазурку танцует,
о художнике говорят,
замечательно он рисует
кровь на белых рубашках солдат.

1942,
Ташкент

ZOFIA

Выйдя из товарного вагона,
в азиатской дальней стороне,
полька моисеева закона
написала «Zofia» на стене.

Я увидел синагоги Львова,
долгополых сюртуков квартал.
Азия в дожде была лилова,
дождик «Зофья», «Зофья» лопотал.

Площадь вся под тучами лежала,
улыбаясь, плакала во сне.
Хлеб жевала, вшей в арык бросала
и читала «Зофья» на стене.

1943,
Ташкент

* * *

Тяжелая седая мгла
колотится о материк.
Далеко до подъема флага,
до седины короткий миг.

И полон океан кипенья,
но я гляжу среди зыбей
на круг нежданного спасенья
с названьем гавани твоей.

Гляжу на волны и гадаю,
твоя ли это седина,
но ты, как прежде, молодая
за ста морями мне видна.

1943

* * *

Поэт сказал: волна и птица,
растение и человек
полками множества стремится
в счастливый, хоть далекий век.

Сквозь сто ночей все рвется к свету,
тенета и преграды рвет —
и лучший аттестат поэту
его стремление вперед.

1943

* * *

В такое время года
дни хороши подряд.
Два белых парохода
под музыку трубят.
Уходят в воздух синий,
всей белизной горя...
Волна, как хвост павлиний,
горит из-под руля.
Два парохода дышат,
один трубит, другой...
Два штурмана запишут
о встрече под яйлой.
А мы сошлись бесцельно,
о нас мы не прочтем
ни в книге корабельной,
ни в дневнике твоем...

1943,
Ташкент

* * *

Мы — два ореха в темном море.
Вода безмолвна. Ночь слепа.
Склевало наши души горе —
от нас осталась скорлупа.

Нас бог не провожает взглядом,
и рыба не глотает нас.
Пока плывем с тобою рядом,
прошу, коснись меня хоть раз.

Прикосновеньем жесткой кожи
заставь теплеть скупую кровь,
чтоб было все это похоже
на позднюю, но все ж любовь.

1943,
Ташкент

ПЕСНИ ДЛЯ ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЯНА

I

Улетает джигит,
пусть аллах сохранит
моего молодого орла
от чужого копья,
от паденья коня,
от слетевшего на бок седла.
Мой джигит молодой,
лучше дома со мной
будем милых лелеять детей.
Молодой мой джигит,
если ты не убит,
возвращайся ко мне поскорей!

II

Полон стрел мой колчан,
я не пил и не пьян.
Мне — джигиту — напиться бы всласть!
Ведь на то и война,
чтобы чашу вина
опрокинуть и замертво пасть!

Сердце полно любви.
Где же губы твои,
черных глаз твоих сладкая власть?
Ведь на то и война,
чтобы выпить до дна
поцелуи и мертвым упасть.

1943,
Ташкент

* * *

От всего могу я отказаться,
всякую перенесу нужду.
Года два мне сны уже не снятся,
года два я ничего не жду.

1947

НА АТОЛЛЕ

На атолле в океане теплом
позабыть тебя я не могу.
Все летит душа к холодным ветлам,
где на лыжах бродишь ты в снегу.

У атолла в теплом океане
в чужедальной теплой стороне,
как на перламутровом экране,
ты скользишь по льющейся волне.

В теплом океане на атолле
позабыть тебя я не могу.
Гребень теплых волн не оттого ли
для меня, как ты, всегда в снегу.

1947

БАБЬЕ ЛЕТО

На сине-лиловатом поле
цветы свекольные красней —
и осень в тяжком ореоле
своих каштановых кудрей,
в своей лазурной пелерине
через лазурное жнивье
бежит по тихой паутине
в стихотворение мое.

1947

НО РУССКАЯ ОСЕНЬ...

Желто-коричневые дали,
сине-малиновый закат...
И озими твои привяли,
и твой румянец сероват.

Но я люблю тебя, как прежде,
всегда одну, везде одну —
ведь ты равна моей надежде
на ненаглядную весну.

1947

СТАРОСТЬ

Вы — молодость, вы — благодать,
а у него виски седые,
и он не смеет целовать
ладони ваши молодые.

Минута счастья истекла,
томленье тянется веками —
ведь даже тонкого стекла
бог не оставил между вами.

1948

* * *

Зеленая акация,
голубоватый тон.
Воздушной навигацией
кораблик унесен.

Скользит под легким парусом
в зеленые моря.
Каюты в два-три яруса,
меж ними и моя.

В ней за столом за письменным
сижу, тобой дышу.
Тобой оболган, высмеян,
тебе же и пишу.

Работала бы рация —
приму я твой ответ.
Зеленая акация —
голубоватый цвет.

Зеленою акацией
закрыт мой небосклон.
Весенней навигацией
кораблик унесен.

Теплыни — не угнаться ей
За мотыльком-цветком.
Зеленою акацией
закрыто все кругом.

1950

КИНОСЪЕМКА

Дождик. День какой-то кисло-сладкий.
Это редкость в наши времена.
Взнузданные белые лошадки.
Барыня красива и пышна.
Экипаж подушки цвета вишни.
Боже, боже, господи всевышний,
Упаси от этой красоты.

1950

ВЕСНЕ

Хотя меж нами расстояния,
хотя меж нами времена,
но прежнего очарования
ты на мгновение полна.

Мое видение минутное,
как прежде, кажешься простой,
и душенька твоя уютная
сияет ризой молодой.

Мной передуманная заново,
протягиваешь руку мне,
и бледная рука до самого
туманного плеча в луне.

1950

* * *

Уж серенькое небо лучше,
уж безобидней цвет иной —
апрельский вихрь развеял тучи
и цвет открылся голубой.

Не о весне — поре идиллий
он мне свидетельствует, нет!
Про Мексику мне говорили,
что это там могильный цвет.

Что в землю там не зарывают,
не давят камнем и крестом,
а в синий воздух подымают
и в нем хоронят — голубом.

Уж лучше северный, унылый
пейзаж, к которому привык,
чем цвет тропической могилы,
меж туч открывшийся на миг.

Он — первое предупрежденье,
что пред тобой увянет мир
и что не знает сожаленья
лазурно-голубой эфир.

Что им придется подавиться,
что через месяц или год
тебя склюет в лазури птица
и солнце в синеве сожжет.

Что раздвигает вихрь пределы,
откуда возвращенья нет,
и что стареющее тело
спешит на этот синий цвет.

Нет, небо севера красивей,
благоприятней для меня —
весенний дождик над Россией,
на косогорье зеленя.

1950

* * *

Какая тишина и нега!
Какие солнечные дни!
Но белая полоска снега
как ландыш молодой в тени.

Еще в оврагах снег белеет,
хоть в зелени стоят холмы,
Но свежестью спокойной веет
в себе уверенной зимы.

1950

* * *

В осенний день на катафалке смутном
я не хотел бы кончить дни свои
под снегом и дождем ежеминутным,
не знающим ни гнева, ни любви.

Другое дело — синею зимою
лежать в гробу и видеть вдалеке —
как сквозь кристаллы ты идешь за мною
и слезы замерзают на щеке.

1950

* * *

И нежная, и южная,
не то чтобы топя,
Идет волна жемчужная,
окутала меня.
И дальше вдаль уносится,
упала в тишину.
Но снова сердце просится
в жемчужную волну.

1950

* * *

Опять весну переживешь...
Хотя апрель похож на лето,
хотя на август он похож.
От электрического света
звезды вечерней не уйдешь,
и снова ты, весны примета —
очаровательная ложь.
Очаровательного цвета
земля и небо, ну так что ж! —
хотя ты не весна, а лето,
но теплый вечер так хорош,
что говоришь словами Фета:
«Еще весну переживешь!»

1951

* * *

Собор Андрея и откос.
Стоят старухи со свечами.
На них весенними очами
с креста глядит Исус Христос.

И со свечами весь Подол
стоит у горнего порога,
и я на Днепр взглянуть пришел —
тепло душе, и слава богу.

1951

* * *

Усни, моя душа больная,
забудься сном, печальный друг,
на ложе тихом забывая
свой бессознательный недуг.

Какой шпион или громила
посмеет сон нарушить твой,
когда с тобою голубь мира —
твой непременный часовой.

Когда без всяких потрясений
дороги мира, как одна,
ведут к его целебной сени —
в долины сна, в озера сна.

Когда в твоей опочивальне —
не темных бесов голоса,
а поцелуй сентиментальный,
уста замкнувший и глаза.

Пусть без конца и без начала
покой твои лелеет сны,
чтобы душа твоя молчала
под ярусами тишины.

Душа безмолвствует — ей снится:
ее окончился испуг,—
она летит в лазурь как птица,
как птица из спокойных рук.

И СНОВА ДЕМОНЫ

И снова демоны, и значит —
глухая ночь черна всерьез.
Как небо траурное плачет!
Как море давится от слез!

Но пусть сырая тьма сурова,
но пусть отсутствует луна.
Заря сиять уже готова,
сквозь ночь как первый снег она.

Пусть море темное лютует,
пусть волны — демоны — летят.
Уже край неба розовеет,
уже клок пены розоват.

И комнаты повеселели,
ночник не так темно горит,
и радость у твоей постели —
заря рассветная стоит.

Еще исправится погода,
и станет море — как стекло,
еще и в это время года
на солнце сухо и тепло.

1951,
Коктебель

* * *

Нам озаряла путь луна,
то голубея, то белея.
По морю сна плывет она,
как снег, как бледная лилея.

Сияньем сине-голубым
она скользила по долинам,
но тучка серебром своим
ее закрыла лебединым.

И в лебединые края
мы плыли, в море сна белея,
я сам и бедная моя,
ты — бесноватая Психея.

1951,
Коктебель

ЯСНАЯ ОСЕНЬ

Меж туч все больше свежей бирюзы.
Все больше голых веток — черных кружев.
Вот самолет — не больше стрекозы —
в осенней промелькнул лазурной луже.

Ты занавеску подняла, глядишь —
а самолет исчез, замолк — и значит
опять такая наступила тишь,
что слышно — как душа поет и плачет.

1952,
Ирпень

ВЕСНА СУМАСШЕДШАЯ

I

Как яблони цветут прилежно,
как церковь в небе хороша.
В ладонях яблонь белоснежных
спит бесноватая душа.

Прикована железной цепью,
но снится душеньке больной
прохладных рук великолепье
за монастырскою стеной.

Безмолвны дальние пещеры,
хранит покой фруктовый сад.
Весною приняты все меры:
глаза души закрыты — спят.

Цветы ей снятся восковые,
в лазури церковь над Днепром,
и демоны глухонемые
трепещут кожаным крылом.

Их хоровод спешит нестройный
сокрыться в тень и полусвет,

пред вешней яблоней спокойной
они бессильны, слова нет.

Не властные шумят крылами,
душа не им принадлежит —
осыпанная лепестками —
она — больная — жадно спит.

Ей крепко спится — воспаленной,
пока — прохладны и легки —
ее целуют неуклонно
прохладных яблонь лепестки.

II

Душа молчит — ей крепко спится —
ничто — больную — не гнетет.
В психиатрической больнице
в окошке яблоня цветет.

В окно летит цветок воздушный.
Цветами взор души прикрыт.
Душе не жарко и не душно.
Душа заснула и молчит.

Закрыты взоры лепестками.
Душа, не пробудись не в срок,
ведь может превратиться в камень
пока целительный цветок.

1952

ДУША ИЗНЕМОГЛА

> **Душа избранная, зачем**
> **так мало ты у нас гостила?**
>
> *Шевченко*

I

Душа изнемогла в борьбе
добра и зла и замолчала.
Ищи пристанища себе,
чтоб муку не начать сначала.

Блуждай в пространствах мировых,
беды невольница былая,
тебя от теплых уст моих
в эфир, как птичку, отпускаю.

Лети, душа, в широкий свет,
ищи приют там, где придется,
когда на свете рая нет,
то ад, наверно, уж найдется.

II

Горе, хитрость, злоба, гордость — было
много бесов — страшные дела.

Больше всех сомненье истомило,
больше всех надежда извела.

Тихий страх несли ему упорно
тайный голос, тень, невнятный звук.
Как он не повесился в уборной
на крюке случайном — бедный друг!

Демонами нынче не волнуем,
спит он и не помнит ничего.
Что ж, сентиментальным поцелуем
разбудить попробуем его.

1953

* * *

> А старость — это Рим...
>
> *Пастернак*

Какой там Рим — февраль убогий,
под серым небом серый снег
и черно-серые дороги
вдоль поликлиник и аптек.

Какой там Рим — грусть выше нормы
и мудрость будничных утрат.
Распад обыкновенной формы,
а также времени распад.

Какой там Рим! В почтовый ящик
заглядываешь, встав чуть свет,
и писем нет животворящих,
и гостя ждешь, а гостя нет.

Какой там Рим — все не сидится
и все ворчишь, бранишь февраль.
Корыта нет, чтоб утопиться,
повеситься — веревки жаль.

Какой там Рим! А все же вера,
что за горами мутных вод,
что где-то за волною серой
тебе твой маячок мигнет.

1963

ФУТУРОЛОГИЯ

Говорят, скоро
будут сорваны все ландыши
и не станет ни майских
белых бубенчиков,
ни капель —
конвалярия маялис,
чем будем лечить
больные сердца?
Ну, что ж, выход найдется:
мы запретим
рвать ландыши,
как запретили
охоту на тигров.

Говорят, скоро
иссякнут колодцы
и пересохнут реки,
а от морей
останется морская соль...
Что будем пить?
Ну, что ж, выход найдем:
не станет воды —
по водоканалам
пойдет шампанское.

Говорят, скоро
так увеличится
народонаселение мира,
что людям не хватит городов,
а в городах зданий.
Где будем жить?
Ну, что ж, выход найдем:
спросив совета у пчел,
освоим их ульи и соты.

Уходят философы,
уходят полководцы
начала века.
Приходят философы,
приходят полководцы
конца века —
у них будет время
все обдумать,
все обсудить,
они —
что-нибудь придумают.

1972

РОСА

Свет зеленовато-странный —
цвет туманов и лесов.
Бродят по лесу туманы,
будто души рыбаков.

Будто ищут,
в травах шарят,
просят помощи у нас.
Будто в мокрой хвое шарик
загорелся
и погас.

То лампадка — не лампадка,
то обман и не обман,
между соснами украдкой
зажигается туман.

Будто огонек на мачте
и фонарик бортовой,
будто память о рыбачке
вспыхнул маячок дневной.

1973

СЕНТЯБРЬ-73

Резкий холод.
                    Ливень.
                                        Ветер дикий.
Бабье лето только на два дня.
Хунты отвратительные лики
смотрят на тебя
                    и на меня.
Тишина.
И лязг, и грохот ночью.
Тишина.
И днем страна дрожит.
Президент покрыт крестьянским пончо,
на полу растерзанный лежит...
Он на кладбище — далеком, малом.
Тишина...
И вновь кровавый пир.
Господи, во что бы то ни стало
надо переделать этот мир.

В тюрьмы превратились стадионы.
Местом пыток стали корабли.
И над миром мчится вихрь студеный
с неширокой полосы земли.

1973

ОПЯТЬ «ГЕБЕН»

Нет, не панихида, не молебен,
а машинных отделений гул.
В Черном море ходит крейсер «Гебен»,
покидает навсегда Стамбул.

Он бродил у берегов одесских
и у севастопольских ходил,
был и у кавказских — немцы в фесках
наш обстреливали ближний тыл.

И уже не та волна шальная
расстилается, уже идет,
пену старины седой смывая,
не пятнадцатый, семьдесят третий год.

И не панихида, не молебен.
Но могилы стали тяжелей —
на стальной веревке тянут «Гебен»
на глухую бойню кораблей.

Там разделают его стальную тушу,
переплавят на больших кострах.
Упокой разбойникову душу
если не Валгалла, то аллах...

Все давным-давно забыто это —
перед нами мирных сто дорог,
лишь на пятой полосе газеты
поместят случайный некролог.

1973

ВЕТЕР

Ветер. Ветер.
Волны в берег.
А старухи вяжут.
Три старухи вяжут.
Чуть шевелятся их пальцы,
чуть шевелятся их спицы.
Чуть шевелятся клубки.
Шторм. Шторм.
Волны в мол.
А старухи вяжут,
три старухи вяжут
голубой пуловер,
розовый джемпер,
с оленями шарф.
Девять... Десять...
Все двенадцать баллов...
А старухи вяжут,
три старухи вяжут
тому, кто не выплыл,
тому, кто захлебнулся,
тому, кто утонул.
А старухи вяжут —
три старухи скажут:
— В холодное море
кинем старикам

шерстяной пуловер,
джемпер пуховый,
теплый шарф.

1973,
Таллин—Киев

ПОСЛЕ БОЛЬНИЦЫ

Моя Вселенная — мой дом,
и то не весь —
одна квартира.
Что же осталось мне от мира,
который за моим окном?

Остался юг,
остался север,
остались запад и восток,
остались искры в стратосфере
моих надежд,
моих тревог.

Все стороны,
все государства
глядят ко мне в мое стекло.
Не ограничено пространство,
но время,
время
истекло...

1973

ПЕЙЗАЖ С МЕЛЬНИЦЕЙ

Лето жужжит и шевелится
в смене секунд и времен.
Может быть —
это мельница,
может быть —
дракон.

Что за доспехи железные,
лошади бледная масть!
Повесть о пользе полезного
и непонятная страсть.

Славного,
а не ослуха
взял себе рыцарь слугу.
Санчо
на крепкого ослика
грузит
        крупчатку-муку.

Будет с гренками яичница,
будет лапша и пирог.
Можно ли ограничиться
радостью
        без тревог?

Есть и драконы и мельницы,
умники и чудаки...
Лето жужжит.
Шевелятся
усики
и хоботки.

Трогают,
трогают,
трогают,
пробуют каждый цветок.
Лето зеленой дорогою
с медом спешит на леток.

1973

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Николаевич Ушаков

В ПУТИ

М., «Советский писатель». 1981, 96 стр.
План выпуска 1981 г. № 205

Редактор Г. Г. Валиков
Худож. редактор В. В. Медведев
Техн. редактор И. М. Минская
Корректор Т. В. Малышева

ИБ № 2522

Сдано в набор 27.03.81. Подписано к печати 28.08.81. АО 2939. Формат 70×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 4,20. Уч.-изд. л. 1,90. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1—828. Цена 20 коп. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва. ул. Воровского, 11.

Головное предприятие республиканского производственного объединения «Поліграфкнига». 252057, Киев, ул. Довженко, 3.

20 коп.

